

Сад оказался настоящим лабиринтом — творение рук человеческих, но с претензией на дикую, первозданную природу. Дорожки, выложенные замшелым камнем, петляли между вековыми дубами и разлапистыми кедрами, то ныряли в тенистые, влажные низины, то взбирались на искусственные холмики, путались, раздваивались и уходили в совершенно неожиданные стороны. Опасаясь заблудиться в этом зеленом хаосе, Цзи Линьсюэ крепко, почти намертво, сжал маленькую, доверчиво вложенную в его ладонь теплую руку Гу Цзыси.

— Ты говорил, у тебя нога была травмирована? — спросил он, вспомнив вдруг то, что мучило его еще с прошлой их встречи. Тогда, в суматохе дня рождения, в круговерти чужих лиц и фальшивых улыбок, спросить не получилось.

— Ага, — Гу Цзыси кивнул и, смешно наморщив носик, по-детски жалобно потер коленку свободной рукой. — Я в больнице целую вечность провалялся, пока все заживало. Столько всего вкусного нельзя было есть, я прямо с ума сходил! Слюной исходил, глядя, как другие едят пирожные и мороженое!

Цзи Линьсюэ, стараясь, чтобы вопрос прозвучал как можно более небрежно, словно речь шла о чем-то совершенно незначительном, поинтересовался:

— А как же ты умудрился так неудачно упасть?

— А... — Гу Цзыси замялся, и его выразительные, как у лани, глаза заметались по сторонам, словно он искал там, в густой листве деревьев, готовый, заранее заготовленный ответ. — Я с лестницы оступился, понимаешь? Нога соскользнула, я и покатился кубарем вниз.

Цзи Линьсюэ внимательно наблюдал за ним. Кроме легкой, почти неуловимой тени смущения, на лице мальчика не было и намека на то, что он говорит неправду. Но это смущение, эта неловкость — они были скорее от осознания того, что он что-то недоговаривает, скрывает, утаивает. Прячет за ширмой случайности.

— Точно сам оступился? — переспросил Цзи Линьсюэ, пристально, в самую глубину, заглядывая ему в глаза. — Никто тебя не толкал? Подумай хорошенько.

— Точно! — Гу Цзыси даже кулачки сжал от искреннего возбуждения, и щеки его вспыхнули ярким, почти лихорадочным румянцем. — Я сам, сам упал! Просто нечаянно, понимаешь? Споткнулся! И мой брат тут совершенно ни при чем! Ни капельки, нисколько!

Цзи Линьсюэ помолчал несколько секунд, переваривая услышанное, а затем медленно, с усилием, словно неся на плечах непомерный груз, опустил глаза на корточки, чтобы оказаться с мальчиком на одном уровне, глаза в глаза.

— Почему ты так говоришь? — спросил он мягко, но с той внутренней, негибкой настойчивостью, которая не терпит возражений. — Маленьким детям врать нехорошо. Это знают все. Даже самые маленькие.

— Я не вру! — Гу Цзыси часто-часто заморгал, и в его огромных, влажных, как после дождя, глазах заблестели готовые вот-вот пролиться слезы. — Честно-пречестно! Хочешь, поклянусь? Я в тот день хотел брату фруктов отнести, красивое блюдо с фруктами наверх, ну, понимаешь? Сам выбирал, самые спелые, самые сладкие. А я шел очень быстро, бежал почти, боялся, что остынут или что он уйдет куда-нибудь, и не заметил ступеньку, споткнулся и упал. А брат как раз из комнаты вышел, на шум, на этот грохот, и стоял наверху, на лестнице, смотрел на меня. А мама... мама почему-то сразу закричала, что это он меня толкнул! Я кричал, что нет, что сам, но она не слушала...

Осознав вдруг, что сболтнул лишнего, что сказал то, о чем говорить было нельзя ни в коем случае, Гу Цзыси в ужасе зажал рот обеими ладошками и уставился на Цзи Линьсюэ круглыми, испуганными, как у совенка, глазами.

Цзи Линьсюэ почувствовал, как внутри него, где-то в самой глубине груди, поднимается горячая, обжигающая, как расплавленный металл, волна гнева. С трудом, ценой невероятных усилий, он подавил ее, заставил себя дышать ровно, говорить спокойно, хотя голос его все же дрогнул, сорвался на хрипотцу.

— А зачем... зачем твоя мама так сказала? — спросил он, и в этом вопросе, внешне простом и незамысловатом, крылась бездна.

— Я не знаю, — прошептал Гу Цзыси, и пальчики его, тонкие, детские, нервно, судорожно сплелись в тугую, неразрывный замок. — Мама... она моего брата не любит. Совсем-совсем. Я это давно понял. Она всегда при мне говорит какие-то странные вещи, про сны, про то, что ей все время что-то снится... кошмары, наверное. А я ничего не понимаю, маленький еще, глупый.

Цзи Линьсюэ вдруг, словно вспышка молнии в темном, грозовом небе, все понял. Картина, до этого распадавшаяся на отдельные, разрозненные, не связанные между собой фрагменты, вдруг сложилась в единое, чудовищное, невероятное по своей жестокости целое.

Он снова присел на корточки, оказавшись с мальчиком лицом к лицу, и, не говоря ни слова, просто погладил его по мягким, шелковистым, пахнущим детским шампунем волосам. Жест получился удивительно естественным, успокаивающим.

— То, что ты сейчас мне рассказал, — тихо, но с неожиданной, стальной твердостью сказал он, — никому больше не говори. Понимаешь? Ни одной живой душе. Даже маме. Обещаешь?

Гу Цзыси, шмыгнув носом и утерев слезы рукавом, послушно, с какой-то даже облегченной готовностью, кивнул.

— Обещаю.

Когда они, наконец, выбрались из сада, вынырнули из этого зеленого, душного полумрака, Гу Хэнчжи по-прежнему стоял у входа, прислонившись плечом к шершавому стволу старого дуба.

К этой дурачкой, как он, не скрываясь, считал, игре в поиски сокровищ он не проявил ни малейшего интереса и все это время просидел на скамейке, уткнувшись в телефон, отгородившись от всех и вся.

Услышав легкие, быстрые шаги, он машинально поднял голову, и взгляд его, скользнув по ним равнодушно, вдруг остановился, застыл, прикипел к их сплетенным, так и не разжавшимся рукам.

— Надо же, — протянул он, и в голосе его, как всегда, зазвенела знакомая, колючая, как проволока, насмешка. — Ты, я смотрю, с моим очаровательным братцем и правда отлично поладил. Душа в душу. А ведь на дне рождения вы, кажется, впервые и встретились? Прямо родственные души.

Гу Цзыси, никогда в жизни не слышавший, чтобы брат употреблял слово «очаровательный» применительно к нему, да и вообще к кому бы то ни было, залился краской до самых корней волос и вытаращил глаза так, что они, казалось, сейчас выскочат из орбит и покатаются по траве. Внутри у него все ликовало, пело и прыгало от счастья.

— Ге Линьсюэ очень, очень хороший! — выпалил он, не в силах сдержать переполнявших его, распиравших грудь эмоций.

Цзи Линьсюэ прекрасно понимал, что Гу Хэнчжи не делает комплиментов и уж тем более не радуется их внезапной дружбе. Он просто, по своему обыкновению, язвит, насмехается, прячет за колкостями что-то другое, более глубокое и важное. Он мягко, но решительно перебил восторженную тираду мальчика:

— Я встретил его в саду, — пояснил он, обращаясь к Гу Хэнчжи. Голос его звучал ровно, бесстрастно. — Он сказал, что хочет лично передать тебе коробочку, которую нашел.

Гу Цзыси, мгновенно сообразив, что от него требуется, закивал и, бережно, словно величайшую, бесценную драгоценность, протянул брату свою скромную находку.

— Это тебе, брат, — сказал он с такой трогательной, такой отчаянной надеждой в голосе, что у Цзи Линьсюэ, наблюдавшего за этой сценой со стороны, болезненно защемило сердце. В этом коротком, простом предложении, произнесённом тихим, чуть дрожащим голосом, было столько беззаветной, ничем не обусловленной детской любви, столько искреннего, наивного желания угодить, что даже самому чёрствому, самому равнодушному человеку стало бы не по себе.

Маленькая ладошка, бережно сжимавшая коробочку, протянулась к старшему брату, словно совершая важный, почти священный ритуал.

Гу Хэнчжи даже не взглянул на него. Он смотрел на Цзи Линьсюэ, и в глазах его, тёмных, непроницаемых, как ночное небо без единой звезды, застыл немой, тяжёлый, почти физически ощутимый вопрос.

— Твоя идея? — спросил он, и в этом коротком, рубленом вопросе слышалось всё сразу: и недоверие, и привычная, колючая насмешка, и что-то ещё, глубоко спрятанное, чему не было названия, но что делало этот вопрос особенно острым, болезненным.

— Нет, — спокойно, не мигая, глядя прямо в эти непроницаемые глаза, ответил Цзи Линьсюэ. Голос его звучал ровно, уверенно, без тени сомнения или вины. — Я его не учил. Не подсказывал. Это его собственное, искреннее желание. Поверь, я тут совершенно ни при чём.

Поверил ему Гу Хэнчжи или нет — осталось неизвестным, покрытым мраком, как и многое в этом человеке. Он просто молча, опустив глаза, уставился на коробочку, сиротливо, никому не нужной, лежавшую на скамейке рядом с ним, и не делал ни малейшего движения, чтобы её взять. словно само прикосновение к этому дешёвому предмету могло что-то изменить, разрушить возведённые им стены.

Гу Цзыси, как любой ребёнок, не выносил долгого, напряжённого, звенящего, как натянутая до предела струна, молчания. Оно давило ему на уши, на виски, заставляло сердце биться быстрее и путаться мысли. Он потоптался на месте, нервно пошаркал носком новенького, ещё не запялённого кроссовка по земле, а потом, осторожно, украдкой, как воробышек, выглядывающий из гнезда, покосился на брата.

— Брат, — тихо, едва слышно, почти беззвучно, одними губами, позвал он. Голос его дрожал, срывался, готовый в любой момент провалиться в беззвучный плач. — Если ты хочешь эту коробочку... если она тебе нужна... я могу ещё поискать. Там их много, наверное, в саду, под каждым кустом, под каждым деревом. Я найду, сколько скажешь.

— Что ты опять затеял? — Гу Хэнчжи медленно, словно нехотя, поднял на него глаза, и в этом взгляде, устремлённом на маленького, беззащитного мальчика, не было ни капли тепла, ни капли снисхождения, ни капли той братской любви, о которой тот так отчаянно мечтал. Только ледяная, колючая, обжигающая холодом, как арктический ветер, сталь. Только бесконечная, застывшая, как вечная мерзлота, усталость. — Гу Цзыси, у меня нет ни времени, ни малейшего желания участвовать в ваших с матерью дешёвых, бездарных спектаклях про братскую любовь и всепрощение. Вы с ней оба... вы одинаково омерзительны. Слышишь? Одинаково.

— Я... я тогда, в прошлый раз, сказал папе и маме, что сам упал, — Гу Цзыси всхлипнул, и крупные, тяжёлые, как первые капли дождя, слёзы покатались по его пухлым, детским, ещё не успевшим огрубеть щекам, оставляя на них влажные, блестящие дорожки. — Честно, сказал. Кричал им, плакал, объяснял, что ты не толкал, что я сам, сам споткнулся! Но они... они мне не поверили. Никто не поверил. Сказали, что я маленький и ничего не понимаю, что ты плохой, а я хороший... — Он шмыгнул носом, размазывая слёзы по лицу грязным от уличной пыли рукавом. — Я знаю, что это я во всём виноват. Если бы я не пошёл тогда наверх, если бы не споткнулся, если бы не закричал... папа бы тебя не ударил. Прости меня, брат. Прости, пожалуйста.

Гу Хэнчжи резко, словно от физической боли, дёрнулся и отвернулся. Профиль его, освещённый тусклым, болезненно-жёлтым, каким-то неживым светом одинокого фонаря, казался высеченным из холодного, белого, абсолютно безжизненного мрамора. Ни один мускул

не дрогнул на этом лице, ни одна эмоция не отразилась в этой застывшей маске.

— Исчезни, — отрезал он, чеканя каждое слово, словно вбивая тяжёлые, ржавые гвозди в крышку гроба. — Не появляйся больше передо мной. Никогда. Я не желаю тебя ни видеть, ни слышать. Ты понял?

Никогда, ни разу в своей короткой, безоблачной, казавшейся ему такой счастливой жизни, Гу Цзыси не слышал от брата таких страшных, таких безжалостных, таких убийственных слов. Он замер, поражённый, словно громом среди ясного, безоблачного неба, и несколько долгих, мучительных, бесконечных, словно растянувшихся в вечность секунд просто стоял, не в силах пошевелиться, не в силах вдохнуть, не в силах даже заплакать. А потом, смахнув рукавом набежавшие, застилающие глаза, мешающие видеть этот жестокий мир слёзы, тихо, смиренно, как нашкодивший, выброшенный на улицу щенок, прошептал:

— Я понял, брат. Прости меня. Я больше не буду. Никогда.

Он уже медленно, словно нехотя, словно надеясь, что его остановят, окликнут, позовут обратно, побрёл прочь, ссутулившись и став вдруг таким маленьким, таким хрупким, таким бесконечно беззащитным в сгущающихся, липких, как патока, сумерках, как вдруг сзади раздалось:

— Постой.

В глазах Гу Цзыси, в одно мгновение, вспыхнула безумная, отчаянная, почти болезненная, граничащая с истерикой надежда. Он резко, всем телом, обернулся.

Длинные, изящные, аристократичные, с ухоженными ногтями пальцы Гу Хэнчжи, даже не глядя в его сторону, равнодушно, почти брезгливо, ткнули в сторону коробочки, всё еще сиротливо, никому не нужной, забытой, лежавшей на холодной скамейке.

— Своё заberi, — бросил он, по-прежнему не глядя на брата, и голос его звучал глухо, безразлично, словно он говорил не с живым человеком, а с пустотой.

Гу Цзыси, схватив коробочку и прижав её к груди, к самому сердцу, как величайшую драгоценность, быстро, почти бегом, боясь, что его снова остановят, снова что-то скажут, скрылся в темноте аллеи, растворился в ней бесследно, словно его и не было. Цзи Линьсюэ долго, не отрываясь, смотрел ему вслед, в ту черноту, которая поглотила маленькую, беззащитную фигурку.

— Что за взгляд? — Гу Хэнчжи, сам не заметив как, бесшумно, словно призрак, материализовался у него за спиной.

Цзи Линьсюэ медленно, с усилием отрывая взгляд от темноты, обернулся и посмотрел прямо

ему в глаза, в самую глубину, куда никто никогда не решался заглядывать.

— Ты ведь не настолько его ненавидишь, как пытаешься показать, — тихо, но с той внутренней, незыблемой, гранитной уверенностью, которая не требует доказательств и не терпит возражений, сказал он. — Зачем ты так с ним? Зачем делаешь ему больно, если внутри... если на самом деле тебе не всё равно?

— Ты, значит, уже неплохо меня изучил? — усмехнулся Гу Хэнчжи, но в усмешке этой не было прежней, привычной, отточенной до блеска язвительности и вызова. Скорее — бесконечная, вселенская, давящая на плечи тяжестью всего мира усталость. Усталость от всего этого: от лжи, от притворства, от боли, от самого себя.

— По крайней мере, я вижу то, что ты так отчаянно пытаешься скрыть, — не отступал Цзи Линьсюэ, и голос его звучал всё так же твёрдо. — Ты вовсе не так равнодушен к нему, как хочешь доказать всем, и в первую очередь — самому себе.

Гу Хэнчжи, не отвечая, уставился куда-то в темноту, на смутные, расплывчатые, теряющиеся во мраке очертания деревьев, на чернеющий вдаль, безмолвный и враждебный лес. Молчал долго, мучительно долго.

— Мы никогда не сможем стать настоящими братьями, — проговорил он наконец, и голос его звучал глухо, надтреснуто, словно издали, из какой-то другой, неведомой, параллельной реальности. — Слишком много всего было. Слишком много лжи. Слишком много боли. Не лезь в это, ладно? Не надо. Есть вещи, которые тебя не касаются. Которые ты не сможешь изменить, даже если очень захочешь. Даже если разобьёшься в лепёшку.

Цзи Линьсюэ посмотрел на его решительный, окаменевший, застывший, как гипсовая посмертная маска, профиль и промолчал. Спорить с этой стеной было бесполезно. По крайней мере, сейчас.

Игра неумолимо близилась к завершению. Один за другим, запыхавшиеся, покрасневшие, но сияющие довольством, в лагерь возвращались ученики, сжимая в руках кто две, кто три, а кто и все пять заветных коробочек, сверкая глазами и наперебой делясь впечатлениями. Воздух звенел от радостных возгласов и смеха.

Один Гу Хэнчжи стоял в стороне, прислонившись плечом к дереву, с пустыми руками, демонстративно, почти вызывающе равнодушный к этой суете, к этому всеобщему ликованию. Казалось, всё происходящее не имеет к нему ни малейшего отношения.

Шэнь Шаоянь, сияя от гордости, как начищенный до ослепительного блеска самовар, подлетел к ним и торжественно потряс перед их носами пятью коробочками, словно это были не жалкие картонные безделушки, а по меньшей мере боевые трофеи, захваченные в кровопролитном сражении.

— Во! — похвастался он, расплываясь в довольной, самодовольной улыбке до ушей. — Кто тут у нас, спрашивается, главный следопыт и кладоискатель? А? Признавайтесь и завидуйте молча! Тихонечко так, чтоб я не слышал.

Потом, смилостивившись, великодушно, как король, раздающий подачки провинившимся, но всё же любимым подданным, протянул две из них Гу Хэнчжи.

— На, держи. — Он сунул коробочки ему прямо в руки. — Не говори потом, что я жадный и с тобой не делюсь. Я, между прочим, добрый и щедрый.

Гу Хэнчжи, не церемонясь и даже не удосужившись взглянуть на дары, молча, без тени благодарности, взял их.

— Премного благодарен, — сухо, с непередаваемым, убийственным сарказмом, бросил он, даже не разжимая губ.

Шэнь Шаоянь, ничуть не смутившись, подпрыгивая на ходу и напевая какой-то глупый, незатейливый мотивчик, отправился сдавать свою добычу учителю, чтобы обменять на обещанные призовые баллы и, возможно, какой-нибудь приятный, но совершенно ненужный ему бонус.

— Кстати, — бросил он небрежно, уже на полпути обернувшись и сделав круглые глаза, — я, кажется, твоего братца в саду видел, когда по кустам лазил, свои сокровища искал. Он всё дальше и дальше уходил, в самую глубину, в самую чашу, и вид у него был... ну, сам понимаешь, расстроенный, что ли. Грустный такой. Чуть ли не плакал.

Он подошёл ближе, с неподдельным, почти болезненным любопытством заглядывая в лицо Гу Хэнчжи, пытаясь разглядеть там хоть тень эмоции.

— О, опять? — протянул он понимающе, с какой-то даже обречённостью в голосе, словно речь шла о неизбежном, о привычном ходе вещей. — Снова ты его довёл до слёз? Ну сколько можно? Не надоело?

— Судя по твоему тону, — сухо, даже не оборачиваясь, заметил Цзи Линьсюэ, — это у него, у Гу Хэнчжи, не первый раз. Похоже, привычное дело.

— А, — Шэнь Шаоянь безнадежно махнул рукой, — Цзыси, он вообще-то с самого рождения, с пелёнок, к нашему Хэн-гэ липнет, как банный лист, как репей. Прилипчивый такой, сил нет. Помню, когда он ещё совсем крохой был, только ходить научился, смешно так переваливался, Хэн-гэ даже просил меня помочь ему одежду для брата выбрать, детскую, понимаете? Ну, там, ползунки, распашонки всякие... Представляете? Сам, лично! Если бы не его мамаша, эта...

— Шэнь Шаоянь, — оборвал его Гу Хэнчжи, и в голосе его, тихом, но от этого ещё более

страшном, послышалась явственная, нешуточная угроза, от которой у Шэнь Шаояня по спине, даже в тёплый вечер, пробежал неприятный, липкий холодок.

— Ладно-ладно, молчу, молчу как рыба об лёд, — Шэнь Шаоянь поспешно поднял обе руки вверх, демонстрируя полную, безоговорочную капитуляцию и готовность сотрудничать со следствием. Он взглянул на небо, где уже догорал, медленно умирал багровый закат, окрашивая редкие облака в кровавые, зловещие тона. — Странно, однако, что он до сих пор не вернулся. Заблудился там, что ли? Или уснул где-нибудь под кустом, устал?

Солнце уже почти полностью скрылось за горизонтом, и на землю, быстро и неумолимо, опускались густые, лиловые, как чернила, сумерки. Учитель, наконец, раздал обещанные призы, и ученики, галдя, толкаясь и залиvisto смеясь, довольные и уставшие, разбрелись по своим уютным, тёплым номерам. Пустая поляна, ещё недавно такая оживлённая, многолюдная и шумная, опустела, и на ней, в сгущающейся темноте, остались только они четверо.

Сад, где они с таким азартом, с таким детским упоением искали спрятанные сокровища, располагался в самой дальней, самой отдалённой части отеля, почти у подножия тёмной, нависающей над долиной горы, поросшей густым, мрачным лесом. Дальше, за аккуратными рядами садовых деревьев, начинался уже дикий, совершенно непроходимый, враждебный человеку лес, куда никто из гостей, даже самых отчаянных и безрассудных искателей приключений, не рисковал заходить даже днём. И, кроме этой единственной, узкой, петляющей между кустами дорожки, по которой они сюда пришли, другого пути назад, к гостинице, к людям, к спасительному теплу и свету, просто не существовало.

Цзи Линьсюэ почувствовал, как по спине, несмотря на всё ещё тёплый вечерний воздух, пробежал неприятный, липкий, ледяной озноб, не предвещающий ничего хорошего.

— Кто-нибудь видел, как он выходил? — спросил он, обводя внимательным, тревожным взглядом остальных. — Кто-нибудь обращал внимание?

Все молча, виновато переглянувшись, покачали головами. Никто не видел.

— Чёрт, — выдохнул Шэнь Шаоянь, и лицо его, обычно беззаботное, улыбчивое и немного глуповатое, мгновенно стало серьёзным, почти испуганным. — Сад же огромный, там заблудиться — раз плюнуть, как два пальца об асфальт! Он там, чего доброго, заблудиться мог, и сейчас сидит где-нибудь под деревом в темноте и плачет, зовёт нас, а мы не слышим!

Гу Хэнчжи резко, словно от хлёткой, обжигающей пощёчины, побледнел. Краска мгновенно схлынула с его лица, оставив лишь мертвенную, пугающую бледность.

— Надо идти искать, — сказал он, и голос его, вопреки обыкновению, дрогнул, сорвался на хрип, выдавая то, что он так тщательно, так отчаянно пытался скрыть за маской ледяного равнодушия.

Они вчетвером, не сговариваясь, повинувшись единому порыву, снова вошли в сад — в этот душный, влажный, наполненный странными, пугающими шорохами и звуками полумрак — и разделились, разбежались в разные стороны, чтобы обыскать его как можно быстрее, как можно тщательнее, не пропуская ни метра.

Время, равнодушное ко всему на свете, неумолимо, секунда за секундой, утекало сквозь пальцы, и вместе с ним таял, исчезал последний, призрачный свет. Когда окончательно, бесповоротно стемнело, когда ночь вступила в свои права, в саду, наконец, зажглись фонари — тусклые, редкие, разбросанные там и сям в полном, хаотичном беспорядке, они давали ровно столько света, чтобы не налететь в темноте на толстый ствол дерева и не свалиться в придорожную канаву. Разглядеть что-то в их больном, желчном, каком-то неживом, болезненном свечении было практически невозможно.

Они искали уже больше получаса. Исходили, кажется, каждый метр, каждый жалкий клочок этой проклятой, бесконечной земли, обыскали, кажется, каждый куст, каждую ложбинку, каждую ямку, каждую корягу, но Гу Цзыси как сквозь землю провалился, растворился, исчез бесследно, словно его никогда и не было.

Гу Хэнчжи стоял, прислонившись спиной к шершавому стволу старого дуба, стиснув зубы так сильно, что на скулах, на напряжённой челюсти выступили тугие, каменные желваки. Губы его, плотно, намертво сжатые, превратились в одну тонкую, бескровную, почти невидимую на бледном лице линию. Цзи Линьсюэ, украдкой наблюдавший за ним, вдруг заметил, что руки его, которые он безуспешно, судорожно пытался спрятать в карманах, мелко, едва заметно, но неудержимо дрожат. Вопреки всем его жестоким, холодным словам, вопреки напускному, показному, доведённому до совершенства равнодушию, ему было далеко, ох как далеко не всё равно.

— Да чтоб тебя! — Шэнь Шаоянь в отчаянии, со всей дури, со всей злости, пнул попавшийся под ноги ни в чём не повинный камень, и тот, описав в воздухе крутую дугу, бесследно исчез в темноте, даже не стукнувшись ни обо что. — Сад вроде не такой уж и большой, не бесконечный же! Как мы могли его потерять? Как он мог просто взять и исчезнуть, испариться, что ли?

— Я опросил всех, кого встретил на обратном пути, — вмешался Лу Юй, и голос его, как всегда, звучал спокойно, рассудительно, внушая доверие. — Всех учеников, всех учителей, даже охранников у входа. Никто не видел, чтобы он отсюда выходил. Никто. Абсолютно никто. В саду, по идее, должны быть камеры наблюдения, скрытые, наверное. Я сейчас пойду, запрошу запись, посмотрю, что там, может, что-то увижу.

— Хорошо, — Гу Хэнчжи, сделав над собой нечеловеческое, колоссальное усилие, взял себя в руки, заговорил твёрдо и чётко, как заправский командир, отдающий приказы в бою, не терпящие возражений. — Ты идёшь за записями. Шэнь Шаоянь — сообщник администрации отеля, пусть поднимают охрану, пусть прочешут всё вокруг, каждый угол. А мы с ним, — он коротко, мельком, даже не глядя, кивнул в сторону Цзи Линьсюэ, — продолжим обыскивать сад. Здесь, в самой глубине, куда свет не доходит.

Никто не стал спорить, не задавал лишних, ненужных вопросов. Все молча, понимая

серьёзность момента, разошлись, разбежались выполнять свои задания.

Цзи Линьсюэ и Гу Хэнчжи снова, в который уже раз, углубились в самую чашу сада, туда, куда почти не доходил жалкий свет редких, жидких фонарей, где царил непроглядный, липкий, вязкий, как болотная жижа, мрак. И там, в самом дальнем, самом тёмном, самом страшном, забытом богом и людьми углу, за густыми, непроходимыми, колючими зарослями цепкого, как змеи, кустарника, они нашли клочок белой, мягкой, нежной ткани, зацепившийся за острый, как нож, сук и трепещущий на ветру, как прощальный, отчаянный привет.

Цзи Линьсюэ, подсвечивая дрожащим, слабым, готовым вот-вот погаснуть светом телефона, внимательно, сосредоточенно, затаив дыхание, осмотрел находку.

— Это от его куртки, — сказал он уверенно, без тени сомнения, без тени надежды на ошибку.
— Я хорошо запомнил, сегодня на нём была именно такая — белая, мягкая, новая. Я ещё подумал, что она ему очень идёт.

— Да, — подтвердил Гу Хэнчжи, и голос его, наконец, дрогнул, сломался, обнажив то, что было внутри, что он так долго и безуспешно пытался похоронить под обломками своей гордости. — Это его.

Они пошли дальше, туда, куда указывала ветка с зацепленной тканью, раздвигая руками колючие, хлещущие по лицу ветки, не чувствуя боли, не замечая ничего вокруг, и вскоре, продираясь сквозь заросли, вышли к ограде.

Тяжёлая, высокая, неприступная стена из серого, мрачного, покрытого вековым мхом камня, предназначенная для того, чтобы навсегда отгородить территорию уютного отеля от дикого, безлюдного, враждебного леса, была утыкана по верху несколькими рядами колючей проволоки, по которой, как грозно предупреждали яркие, предупредительные таблички, пропущен электрический ток. Смертельный.

Но сейчас, здесь, в этом месте, проволока была бесцеремонно, грубо, с какой-то звериной силой разорвана, безжалостно перекушена, и в стене, в этой некогда неприступной преграде, зияла огромная, чёрная, рваная дыра — достаточно большая, чтобы в неё мог пролезть даже взрослый, крупный мужчина, не то что маленький, худенький, беззащитный мальчик.

Они переглянулись. Им обоим не нужно было ничего объяснять, не нужно было произносить ни слова, не нужно было строить догадки. Всё и так было предельно, чудовищно, до мурашек, до ледяного ужаса в груди, ясно.

Гу Цзыси похитили.